

С. С. Хоружий

О нравственной катастрофе и миссии регистратора¹

В работе анализируется феномен антропологической катастрофы, которая совершилась в России в XX в., а также обсуждаются антропологические и социальные стратегии, возможные для человека и общества в период, непосредственно следующий за катастрофой. В центр рассмотрения ставится этический аспект катастрофы. Прослеживается процесс изменения этических установок в России, начиная с предреволюционного периода и по настоящий день. Установлено, что этот процесс носил характер серии резких смен этической модели, насильственно-нормативно диктуемых властью. Такие смены травмировали и дезориентировали нравственное сознание, постепенно лишая его чувствительности и увлекая к деградации. В качестве последних этапов процесса выделены постсоветские формации «анти-этики» 1990-х гг. и «а-этики», состояния атрофии этического сознания, — в наши дни.

Проводится антропологический анализ состояния человека и общества после катастрофы. Выбирая за основу концепцию человека как Присутствия (она представлена, прежде всего, у Хайдеггера, а в русской философии у В.В. Библихина), мы заключаем, что в пост-катастрофическом состоянии человек существует в ущербном модусе «расплющенного Присутствия». Примеры существования в таком модусе мы находим описанными или изображенными в современном искусстве — у Рильке, Клее, Хармса, в свидетельствах, создававшихся в концлагере. В этих примерах миссия самореализации, доступная человеку, характеризуется как особого рода экзистенциальная практика — «регистрация на краю», или «последняя регистрация», исполнители же этой миссии — «последние регистраторы». Наряду с прочими измерениями нормального присутствия, в модусе «расплющенного Присутствия» нет также и развитой этической модели, и в этом смысле, нет этики, но существует еще некоторый этос.

ключевые слова: этика, этос, онтология, антропология, Россия, русская революция, архаизация, антропологическая катастрофа, бытие-присутствие, предельные практики, покаяние.

1. В основе статьи — доклад автора на международной научно-практической конференции «Россия

между прошлым и будущим: хранители и самородки» (Москва — Подмосковье, 6–8 ноября 2018 г.).

Тема, которая выбрана для данного размышления, не может не связываться в русском сознании с хрестоматийной строкой:

Тогда считать мы стали раны, товарищей считать.

(М. Ю. Лермонтов. Бородино)

Мы окунаемся в ситуацию, когда страна и общество прошли череду тяжких, разрушительных испытаний. Мы хотим увидеть, к чему это привело, в каком состоянии мы — сознание общества, культурно-цивилизационный организм страны — пребываем сегодня. И мы хотим понять, каковы перспективы и пути преодоления травматических последствий — последствий духовных и антропологических, культурных и социальных.

Все названные вопросы имели уже бесчисленные обсуждения на уровне публицистики и лирики, красивых деклараций и возвышенных медитаций — но остались открытыми вопросами по сей день. Весьма давно уже, в 1989 г., Мераб Мамардашвили написал, что главная суть происшедшего в XX веке — антропологическая катастрофа. Это суждение стало популярным, его повторяли и повторяют, однако никакого раскрытия и понимания катастрофы представлено не было ни у Мамардашвили, ни у других авторов. Чтобы продвинуться к пониманию, разговор должен наконец стать предметным, концептуальным и аналитическим. Постараемся приблизиться к этому.

Для начала нельзя не согласиться, что для передачи характера и смысла событий минувшего столетия ключевым словом должно быть, действительно, — *катастрофа*. Достаточно и оснований к тому, чтобы согласиться полностью с тезисом Мамардашвили: главный итог всего, что совершилось в нашем отечестве, — антропологическая катастрофа. Однако едва ли перспективно сразу ставить в центр изучения весь в целом феномен этой катастрофы. Антропологическая реальность не просто комплексна, она бесконечномерна, и заведомо невозможно охватить и понять происшедшие изменения сразу во всех ее измерениях. Поэтому для постижения того, что с нею произошло, сначала необходимо выделить некоторые стержневые измерения, для которых были бы возможны конкретное описание и отчетливое выражение в понятиях. В моих недавних работах я попытался провести такие описание и осмысление для процесса изменения этических установок в России XX в. Как показал еще Аристотель, этический аспект — центральный и ключевой для существования человека,

и поэтому его описание создаст и основу для понимания антропологической катастрофы.

Как часто пишут, XX век начался в 1914 г., когда с началом Мировой войны произошла резкая смена исторической динамики. Для России вехой начала катастрофических изменений стало крушение Российской империи. Важен прежде всего сам характер процесса изменений. В России утвердился режим большевиков, самого радикального крыла русской интеллигенции — группы, которая изначально стремилась к борьбе с властью, к поляризации общества и разрушению государства. Уже и до революции в стране имел место конфликт власти и общества, сильны были тенденции социальной вражды, а традиционные православные основания этики и общественного сознания в целом были крупно подточены. Придя к власти, большевики развернули тотальную и насильственную трансформацию не только общественного уклада, но также общественного и личного сознания. Они хотели, чтобы развитие страны несло воплощение их радикальных программ и планов, которые подчинялись абстрактным идейным схемам. Но эти схемы и планы не отвечали реальности, и главной, принципиальной установкой большевиков стала *ломка реальности*. Эта установка утверждалась открыто и агрессивно, в риторике режима центральное место занял особый дискурс ломки, где навязчиво варьировались ломка, слом, перелом...

Ломка проводилась по отношению ко всем сферам жизни страны, ко всем измерениям культурно-цивилизационного организма. Применительно к человеку и обществу главным понятием, выражающим стратегию этой большевистской ломки, стала «инженерия». Ставилась цель создания нового советского человека, и это создание виделось как инженерный, технологический проект, одним из популярных терминов для него была «перековка». Переделка человека мыслилась революционной, глобальной, его прежнее сознание было объявлено «отсталым» и подлежало полной замене на «передовое» советское сознание; революции, коренной перестройке подлежали все сферы жизни, все нормы поведения, общественного и частного, в семье и быту. Подбирались и испытывались различные средства, техники этой переделки. Искусство должно было превратиться в одно из таких средств, и, по формуле Сталина, писателям надлежало быть «инженерами человеческих душ». Основными же инженерами и техниками антропологической переделки являлись чекисты и партработники.

Антропологические технологии, программы, утопии советского времени — огромный и очень гетерогенный культурный пласт. Основу его составляют два соседствующих, но не совпадающих русла: русло научно-технической трансформации человека и русло его насильственной социальной переделки и ломки. Первое русло, в котором были активны Дзига Вертов, Валериан Муравьев, А. К. Горский, Н. А. Сетницкий и др., питалось идеями авангардного искусства, русского космизма и федоровианства. Оно выражало подход трансформативной антропологии, анализ которого представлен мной в книге «Социум и синергия: колонизация интерфейса» [Хоружий 2016, 411–428]. Сейчас же нас занимает второе русло, в котором складывалась практическая антропология советского тоталитаризма. Его ведущие установки задали и определили лично Сталин и Горький. Сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938) последовательно внедряет линию ломки и разрушения во всех сферах жизни: утверждает необходимость «сломать буржуазный аппарат государственной власти», «разрушить остатки сословного строя», ввести «красный террор», «ликвидировать кулачество как класс» [Сталин] и т. д. и т. п. Горький же после возвращения в СССР выступил главным идеологом и пропагандистом системы насильственной этико-антропологической переделки человека. Он ввел и усиленно культивировал понятие «недобитый враг», он требовал безжалостной ломки человеческой природы:

Чем более решительно рабочий класс «ломает хребет» всесоюзному мещанину, тем более пронзительно и жалко попискивает мещанин [Горький, 72].

Функцию разрушения основ семьи и человеческого общежития, наряду с прямыми репрессиями, берут на себя органы НКВД. В юбилейных докладах по случаю двадцатилетия ВЧК (1937) говорится:

...НКВД не только сам раскрывает дела, но является и организатором народных масс... [Микоян, 39].

Гражданка Дашкова-Орловская помогла разоблачить шпионскую работу своего бывшего мужа [Микоян, 38].

Один рабочий сообщил в НКВД об участниках троцкистской организации. В том числе он назвал и своего брата. <...> ...Этот рабочий не постеснялся

ся сказать правду о своем родном брате, потому что выше всего, выше личных и семейных интересов он ставит советскую власть. (*Аплудисменты.*) [Микоян, 38].

...Пионер Щеглов Коля... сообщил начальнику районного отдела НКВД о том, что его отец... занимается расхищением из совхоза строительных материалов. Щеглова-отца арестовали...<...> ...Пионер Коля Щеглов знает, что такое советская власть. Вот где сила, вот в чем мощь народа! [Микоян, 38–39].

Главным же полем тоталитарных антропологических технологий был, разумеется, ГУЛАГ. Во второй половине 1920-х гг. одновременно и параллельно складываются основные принципы, определившие экономику ГУЛАГа и его идеологию. Экономическая часть строилась на идеях Н. Френкеля об организации империи рабского труда, тогда как ядро идеологии составила знаменитая идея «перековки». Неологизм «перековка» стал итогом поисков, в которых усиленно подбирались адекватные слова для передачи перемен в человеке — заключенном, но и не только заключенном, — который оказывается в гуще большой стройки, в условиях строгого режима, изнурительного труда и тяжелого быта. Родился термин, видимо, на Соловках около 1930 г.; наряду с ним употреблялись также — «ломка», «переделка», «переплавка», даже «переварка». Первые авторы, использовавшие термин, поясняли, что речь идет о «новой породе людей», которая была «перекована» на строительстве Беломорканала и затем канала Москва — Волга. Идеология и практика перековки подробно зафиксированы в широко известном издании — коллективной монографии «Беломорско-Балтийский Канал имени Сталина: История строительства 1931–1934 гг.» [Беломорканал]. Этот масштабный труд, о котором пишет и Солженицын в «Архипелаге», — один из основных источников не только по идеологии сталинизма, но и по этико-антропологическим процессам той эпохи, причем его тексты равно служат разоблачением и практик тоталитарного подавления, и нравственной деградации культурного сообщества в лице нескольких десятков авторов тома — виднейших советских литераторов.

Но заявлявшиеся цели социалистической перековки человека имели крайне мало общего с тем, что реально происходило с человеком в советском обществе. Антропологические изменения действительно совершались, они были глубоки и важны, но они были абсолютно другими и непредвиденными. Обозначим мо-

менты наиболее радикальных изменений в области этики. Как мы увидим, стратегия ломки здесь выразилась в серии резких насильственно-административных смен этической модели, которые, противореча друг другу, последовательно разрушали нравственное сознание и увлекали его к деградации и катастрофе.

Процесс начался сразу же с революцией. Победившей и господствующей стала этика радикальной интеллигенции, на базе которой рождается первая из серии новых этических формаций: *этика Революции и Гражданской войны*. Это — агрессивная этика, которая разжигает ненависть и вражду низших классов к высшим, ко всем силам старого строя и объявляет открытую войну прежней России и ее православной этике: «Пальнем-ка пулей в Святую Русь!». Она также оправдывает красный террор, любые жестокости и репрессии. Как и в целом режим военного коммунизма, эта вызывающе экстремистская формация не могла культивироваться долго, и с началом НЭПа она уходит со сцены. Двадцатые годы — период промежуточный и неопределенный, когда режим допускает, как компромисс, те или иные элементы старой культуры, общественного порядка и экономического уклада, однако неуклонно продвигается к полной их ликвидации. В искусстве этот период был ярок и плодотворен, но в нравственном аспекте он был двусмысленным и скользким. Громкие революционные фразы и беспринципные компромиссные практики кричаще противоречили друг другу, в результате чего этическое сознание теряло почву, оставаясь в запутанности и дезориентации.

Но следующий период не допускал уже никакой неопределенности. Он произвел трансформацию всей этической сферы и породил свою этическую формацию, *этику советского тоталитаризма*, которая вбивалась с такою силой и вкоренилась столь глубоко, что многие ее черты сохраняются до сего дня. Это — важнейшее явление, плохо изученное и понятое до сих пор, и я лишь назову сейчас его главные отличия.

Верховный принцип тоталитарной этики — *преданность партии*, лично ее вождю и ее учению, которое требовалось признавать абсолютной истиной. Тем самым, тип этой этики близок к этике преступных групп, банд, где высшим принципом также служит верность главарю банды. Следующий базовый принцип — *насилие*. Преданность режиму обеспечивалась машиной террора, которая осуществляла жестокие репрессии, вплоть до убийства включительно, против широкого круга групп и отдельных лиц, объявлявшихся «врагами народа». По отношению к врагам народа

насилие и убийство признавались нравственным актом. Оправдание этой широкой культивации насилия достигалось посредством столь же широкого разжигания *ненависти*. Механизмы же ненависти заложены в древних пластах сознания, в их архаических и атавистических паттернах, и поэтому тоталитарное сознание и тоталитарная этика насилия и ненависти с необходимостью попадают в круг *феноменов архаизации*². В кампаниях тоталитарного террора неизбежно воспроизводятся архаические парадигмы козла отпущения (реконструкцию этой парадигмы дал Р. Жирар) и *Homo Sacer* (парадигма, описанная Дж. Агамбенем). Устраивались митинги, где сотни и тысячи людей должны были требовать смертной казни для врагов народа, — и эти события были в чистом виде ритуалами, превращавшими каждого из собравшихся в символического участника убийства козла отпущения. Были и категории людей, — например, бежавшие из концлагерей, — которых каждый на законном основании мог убить, что в точности воплощало парадигму *Homo Sacer*. Наряду с этим, всплыла, стала массовой и обрела многообразные проявления парадигма табу, одна из главных черт примитивного сознания. Царивший террор воспринимался массовым сознанием по образцу древних моровых поветрий, жертвы которых вместе с их жилищем причислялись к носителям заразы, табуировались, а само упоминание о них становилось запретным. Вернулись и мифы «оборотничества»: советским дискурсом усиленно внедрялись образы «замаскировавшихся», «перекрасившихся» вредителей и врагов, которые рисовались в точности как оборотни в примитивном сознании. Шел широкий возврат примитивно-архаических черт общественного сознания. Итак, погружение в архаические паттерны — одна из ключевых черт тоталитарного сознания, и эта черта рождает многие последствия в области этики.

Еще одной важнейшей чертой тоталитарной этики является всеобщее доноительство (стукачество). Верховный принцип преданности режиму включал в себя долг обязательного доноса на все нарушения преданности и на всех ее нарушавших; недонесение было преступлением. Институт тайных осведомителей достиг огромных масштабов, так что их присутствие подозревалось повсюду, в любой компании. Создалась атмосфера тотального недоверия и страха, которая сильнейшим образом разлагала все

2. См. об этом, напр.: [Хоружий 1994, 443–445; Хоружий 2018, 634].

человеческие связи — профессиональные, дружеские, семейные. Наконец, надо упомянуть, что наряду с описанной реальной этикой тоталитаризма, существовала официальная советская этика. С реальной у нее был всего один общий пункт — принцип преданности партии и ее вождю. Другие же принципы, такие как советский коллективизм, труд на благо общества и т. п. отнюдь не отвечали реальности, но являлись частью тоталитарной догмы, и все были обязаны регулярно декларировать свою верность им. Кричащее противоречие между этими обязательными декларациями и действительностью порождало лицемерие и ложь на всех уровнях жизни.

На следующих стадиях после сталинского террора, когда насилие и ненависть отошли на периферию, именно ложь и лицемерие оказались самыми характерными и долгоживущими свойствами советского сознания и этики. Именно поэтому призыв к оздоровлению общества был выражен Солженицыным в виде формулы «Жить не по лжи!».

Позднесоветский период принес новую смену этической модели. В этот период происходит постепенное размывание и распад марксистско-ленинской догмы. Официальная этика вяло эволюционирует, колеблясь между верностью догме и попытками ее обновления, гуманизации (характерный пример — «Моральный кодекс строителя коммунизма», сочиненный по приказу Хрущева). Но все эти попытки даже отдаленно не достигают уровня полноценной этической концепции. Становится ясно, что правящий слой сам несколько не следует проповедуемой им высокой морали, и бывшее уважение к нему сменяется насмешками и презрением. Но режим еще сохраняет рычаги насилия, и с ними сохраняется страх, пускай и ослабленный. Возникает специфическое соединение опасливого страха с насмешливым презрением. В этой любопытной формации, доминанту которой составляет всеразлагающий цинизм, сильно уже заметен процесс этической деградации.

После падения советского режима этот процесс быстро достигает своей кульминации. Здесь можно увидеть противоречие — ведь снятие тотального подавления и контроля возвращало свободу мысли и общественного действия, давая возможность осознать симптомы упадка и деградации, дать им оценку и найти пути их преодоления. Но эта возможность была отвергнута. Необходимая первая ступень преодоления нравственного упадка — покаяние: в обобщенном понимании покаяние есть попросту нравственный самоотчет, строгое осознание своей нравственной

ситуации, и, как таковое, оно представляет собой универсальную парадигму начала, первого шага нравственного оздоровления. На грани ухода советского строя в российском обществе возник кратковременный нравственный порыв, когда тема покаяния начала подниматься и обсуждаться и путь покаяния утверждался как необходимость для общества. Однако последовавшая массовая реакция на этот порыв была безразличной или негативной. Путь покаяния был отвергнут. Этот отказ от покаяния стал, по сути, первым нравственным актом российского сознания, когда оно получило свободу. Апостериори мы видим, что этот тест определил многое в дальнейшем развитии этической ситуации.

Бесчувствие национальной совести само по себе является самым сильным симптомом болезни [Федотов, 11].

Вскоре в постсоветском обществе возникает новая этическая формация. Господствующей установкой вновь становится всеобщий цинизм. Это — анти-этическая установка, и сейчас она действует в особых обстоятельствах: с падением советского строя разрушилась не только машина коммунистической диктатуры, но и базовые институты закона и порядка, борьбы с преступностью, поддержания повседневной жизни. Разруха и распад хозяйства и общества влекут за собой распад любых этических норм, независимо уже от их связи с советской идеологией, снятие всех этических запретов. Наступил коллапс социальной этики — специфический порядок, когда сколь угодно гнусные и бесчеловечные поступки, включая убийства и любые преступления, могут совершаться почти свободно, причем они теперь рассматриваются общественным сознанием как вполне допустимые, не вызывают морального осуждения. Отдельные из таких практик даже популяризируются, представляются как престижные занятия: так, с интересом и даже неким уважением обсуждаются «профессии» бандита, киллера, проститутки. Это означает, что в общественном сознании выработалась своего рода обратная, обращенная этика: этическая формация, в которой легитимируются, оцениваются как приемлемые все наихудшие безнравственные и преступные акты. Естественное название для такой формации — *анти-этика*.

Как состояние крайней разрухи в стране, так и связанная с ним анти-этика не могли быть слишком длительными. С новым тысячелетием наступает и новый, сегодняшний период российского развития. Он принес с собой относительную нормализацию

экономики и общественного порядка, и анти-этика также ушла в прошлое. Однако очередная смена этической модели явилась не преодолением этической деградации, но ее дальнейшей фазой, в известном смысле, уже предельной. Анализы этической ситуации в стране характеризуют данную фазу как отсутствие этики, ее полный уход. Так, Дмитрий Глуховский, крупный современный прозаик, пишет:

Идет полный отказ от представлений об этике. Представления о добре и зле больше не применяются [Глуховский, 11].

Но эту характеристику надо уточнить, ибо этика как таковая — имманентная принадлежность человека и общества; ее точное, буквальное отсутствие невозможно, и, скажем, анти-этика тоже есть некая форма этики. Более пристальный взгляд обнаруживает, что в любой момент общественное сознание сейчас принимает некоторые этические нормы и принципы, и они могут быть даже строгими. Но это принятие чисто формально и поверхностно. Оно происходит по указаниям власти, а эти указания сегодня полностью определяются «оперативными потребностями», сиюминутным политическим интересом, меняясь часто, резко и противоречиво. Общество же послушно усваивает любую диктуемую ему этическую позицию и столь же послушно ее меняет, хотя бы уже на другой день. Это значит, что собственной позиции, собственной нравственной реакции у него абсолютно нет.

Это и составляет суть новой этической формации. В итоге всей серии резких и многократных смен этической модели, насильственных ломок этического сознания — это сознание утратило нравственную чувствительность. Об этой опасности давно предупреждал Пастернак:

Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь... <...> Наша душа... помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно [Пастернак, 560].

Наступила атрофия нравственного инстинкта, и адекватным названием для этого состояния этической атрофии может служить *а-этика*. Эта формация — финал всего уже векового, начавшегося в 1917 г. процесса жестоких экспериментов над русским общественным сознанием. Несомненно, состояние а-этики есть этическая катастрофа. Но этическое измерение — центральное,

стержневое в конституции человека, и потому этическая катастрофа означает наличие и антропологической катастрофы. Вкупе же этическая и антропологическая катастрофы должны рассматриваться как главный итог российского общественного развития за прошедший век — итог процесса упадка, развязанного революцией 1917 г.

Наше описание уже отвечает на некоторые поставленные вопросы: мы видим, к чему привело развитие событий и в каком состоянии мы пребываем сегодня. Следующие вопросы должны относиться уже к дальнейшим действиям. Ответ на них должен в первую очередь учитывать масштаб и глубину катастрофы. Обе заключительные этические формации, анти-этика и а-этика, — это предельные формации по степени деградации и разрушения оснований нравственного сознания и социальной этики. В силу этого дальнейшее существование культурно-цивилизационного организма, дальнейшие действия должны начинаться как бы с чистого листа, с самого элементарного минимума.

Что такое этот минимум? Очевидно, это — простое подтверждение существования или же утверждение НЕ-отсутствия человека. В свою очередь, это равносильно утверждению Присутствия человека — одного чистого присутствия, когда ровно ничего больше мы о человеке утверждать не беремся и не можем. Мы утверждаем исключительно лишь то, что он — НЕ отсутствует; а стало быть — присутствует. Человек понимается здесь как исключительно лишь инстанция присутствия. Но человек как Присутствие — это чрезвычайно насыщенная философская формула, не только антропологическая, но и онтологическая. Я приведу две иллюстрации, очень разные и вкупе отчетливо проясняющие ее.

Первая иллюстрация восходит к Священному писанию Ветхого завета. Осуществлять себя как Присутствие — это миссия, которую на себе чувствовал и на себя принимал праотец Авраам. Он определял способ бытия своего тем, что в любой момент, где бы и как бы он ни был, он мог ответить на зов Божий: «Господи, вот я!»^{*1}, т. е. мог подтвердить Богу свое присутствие. Это означает, что Авраам определяет себя как Присутствие, и Присутствие — его конститутивный предикат. Вторая иллюстрация совсем иного рода, из русской культуры. Это — известная герценовская характеристика роли или миссии Чаадаева в николаевской России. По словам Герцена, Чаадаев играл с властью и обществом, с русской действительностью в старинную игру «Жив курилка». По смыс-

*1 Быт 22:1

лу этой идиомы «Жив курилка» — это тоже не что иное, как утверждение или подтверждение своего присутствия вопреки всем перипетиям, превратностям и угрозам. Неведомый «курилка» — это концептуальный персонаж, о котором неизвестно более ничего, кроме того, что он «жив», то бишь присутствует, — и который поэтому, как и Авраам, есть чистая инстанция присутствия.

Вслед за этими примерами надо обратиться к уровню общей антропологии. Понимание человека как Присутствия уже давно существует как одно из основных направлений современного антропологического мышления. Основатель и главный представитель этого руслу — Хайдеггер, в философии которого присутствию соответствует ее центральное понятие *Dasein*, бытие-здесь. *Dasein*, как таковое, до и вне своего оснащения всем ансамблем экзистенциалов, — это, действительно, чистое Присутствие, совершенный минимум человечности. Однако это — онтологический, онтологически нагруженный минимум, это — *Бытие-Присутствие!* Как Хайдеггер разъясняет, присутствие предполагает то, что выражается другим его ключевым понятием, *ontologische Differenz*, онтологическое различие, т. е. различие между сущим и бытием. Имеется в виду, что *в суть и дефиницию присутствия входит отношение*, а именно — соотнесение и соотнесенность сущего и бытия. Следовательно, если человек утверждает себя как Присутствие, то он уже тем самым утверждает себя как онтологическая инстанция. Присутствие, которым и в качестве которого человек себя утверждает, на поверку оказывается присутствием бытия. И это — весьма значимый для нас вывод.

Кроме того, надо добавить, что в русской философии разработкой дискурса присутствия мы обязаны В. В. Библихину. В истории концептуализации присутствия на русской почве ключевой момент — это библихинский перевод «Бытия и времени» Хайдеггера и библихинское решение перевести хайдеггеровское *Dasein* как присутствие. Затем, уже в собственной философии Библихина, его антропология развивается именно в русле концепции человека как Присутствия. Надо сказать, что для него эта концепция имела также существенный религиозный аспект; как он находил, именно она адекватно выражала отношение человека к Богу.

Мы очертили кратко общую концепцию, отвечающую пониманию человека как Присутствия. Но наша тема — отнюдь не общая антропология, а антропологическая катастрофа; и ценно то, что в рамках данной концепции можно увидеть путь к философскому осмыслению этой катастрофы.

Вообще говоря, концепт Присутствия сопоставляется человеку как таковому, а вовсе не человеку в катастрофе: Присутствие актуализует себя, развертываясь в полную икономию (οἰκονομία, домостроительство) человеческого существования; к примеру, у Хайдеггера *Dasein* оснащается обширным ансамблем экзистенциалов. Однако в реальности мы обнаруживаем и такие состояния, такие режимы существования, в которых Присутствие по тем или иным причинам лишено или лишает себя возможностей полноценной актуализации и, в первую очередь, актуализации своего онтологического содержания и статуса. В философском дискурсе мы скажем, что здесь Присутствие оказывается в неких аномальных модусах, в модусах ущербности. Нечто подобное таким модусам Хайдеггер описывает под именем явлений забвения бытия. Далее мы заметим, что во множестве этих модусов следует выделить особо *модус максимальной ущербности*, когда Присутствие лишается всего диапазона своих проявлений, всех возможностей своего развертывания и реализации. Оно оказывается как бы предельно «сплюсненным» или «расплюсненным», так что этот модус максимальной ущербности можно назвать «*модусом расплюсненного Присутствия*». Данный модус, который является не просто аномальным, но также и экстремальным, соответствует человеку в экстремальной ситуации состоявшейся разрушительной катастрофы. Мы можем рассматривать его в качестве предварительного философского определения антропологической катастрофы.

Итак, антропологическая катастрофа — это экстремальная ситуация распада этики и тяжелого упадка формостроительной энергетики культурно-цивилизационного организма; и, как мы видим, в антропологическом аспекте ее можно охарактеризовать таким свойством: здесь *минимальные антропологические проявления, выражающие лишь присутствие и ничего больше, совпадают с максимальными, какие доступны человеку*. Раньше всего приход таких ситуаций уловило искусство и для передачи их специфической природы применило новое и неожиданное в художественном дискурсе понятие *регистрации*. Именно это понятие нашли отвечающим той особой, уникальной активности или практике, которая остается единственно возможной для человека в экстремальных условиях его «расплюсненности», когда никакого диапазона действия и выражения нет, когда пространство действия — да собственно и пространство существования! — сжалось в точку.

В 1921 г. Рильке пишет о творчестве Пауля Клее:

Подобно тому, как потерпевшие кораблекрушение или зажатые в полярных льдах, преодолевая себя, стремятся до последней минуты заносить на бумагу свои наблюдения и переживания, чтобы их жизнь прочертила след на чистых полях листа, куда раньше еще никому не удавалось добраться, — так и Клее... предстает регистратором всех взаимосвязей и соучастий в явлениях этого мира, хотя последние сами по себе уже бессвязны и отворачиваются от него, и настолько для него бесполезны, что он, *ivre d'absence*, лишь как бы роскошествуя в своей бедности, способен иногда пользоваться их формами [Рильке, 274–275].

Как видно отсюда, в акварелях Клее, за ними, Рильке распознает человека, решающего, что ответом на вызов экстремальной, невыносимой ситуации должна быть точная регистрация себя и мира, всех их взаимосвязей и соучастий. Он описывает Клее как регистратора на пределе, который исполняет свою миссию, преодолевая себя, и при этом ни он, ни сам Клее еще не знали, что вскоре художника постигнет редкая и мучительная болезнь, склеродермия, при которой он, по словам биографа:

...Должен был переживать как замедленную смерть неуклонное органическое застывание и оцепенение тканей и соков собственного тела [Giedion-Welcker, 95].

Но у Рильке была высочайшая чувствительность к стихиям страдания и предельных состояний человека, а также поразительный дар к выражению, регистрации этих стихий. Помимо того, у него также последние годы творчества сопровождалась мучительной болезнью. Поэтому и его самого, наравне с Клее, мы должны тоже отнести к регистраторам — или точнее, к регистраторам на пределе, к *последним регистраторам*.

А вскоре после Рильке о той же миссии регистрации говорит вдруг Даниил Хармс. В программном тексте «Сабля» (1929) мы читаем:

— Работа наша... состоит в регистрации мира... <...>

— ...Как же мы будем регистрировать мир?

— Так же как единица регистрирует остальные числа, т. е. укладываясь в них и наблюдая, что из этого получается. <...> Единица регистрирует числа своим качеством. Так должны поступать и мы. <...> ...У каждого из нас

свое особое качество. <...> Работа начинается с отыскания своего качества [Хармс, 436–439].

На первый взгляд, здесь миссия регистрации видится совершенно иначе, чем у Рильке, и, прежде всего, речь совсем не идет о регистрации на последнем пределе, в экстриме. Но на поверку, однако, Хармс тоже говорит именно о регистрации на пределе, о миссии последнего регистратора. Чтобы регистрировать мир, надо прежде отыскать «свое качество», и качество это, по Хармсу, такого рода, что оно становится *оружием* для регистрации, а именно — саблей. Добыть в себе такое качество значит дойти до конца, до крайнего предела себя, и по Хармсу, саблю имели во все времена всего пять человек, во главе с Велимиром Хлебниковым. Ясно, что сабля есть и у самого Хармса. Он был особой натурой, со своим уникальным способом существования: он всегда видел себя, чувствовал и осуществлял как находящегося вне стандартной реальности, на краю ее, в экстриме. И творчество его, и жизнь — это единый *опыт жизнетворчества на краю*, который он строго и стойко, неукоснительно осуществлял, вплоть до самой своей гибели в тюрьме от голода. Нет сомнений, что это жизнетворчество Хармса в его цельности есть исполнение миссии последнего регистратора.

Рильке. Клее. Хармс. Из этих живых примеров наглядно выступает миссия последнего регистратора — как способ экстремального или катастрофического (или пред-, или пост-катастрофического) существования человека — существования в вышеуказанном модусе расплющенного Присутствия, когда максимальные антропологические проявления совпадают с минимальными. Ни в какой мере это не есть формальная регистрация наличного состояния себя и окружающего. Это — экзистенциальная практика, куда вовлечено все существо человека. В ней есть глубоко скрытый внутренний пафос, есть внутренняя воля и спокойная трагическая решимость. Она требует знать, что ты — на краю. Что мир — на краю. И — вести регистрацию мира.

Примеры было бы нетрудно умножить. Пример Хармса уже подсказывает, что к практикам последней регистрации могут приближаться предельные художественные практики, такого рода как перформанс, или акционизм, или как жанр театра.doc (с миссией последней регистрации перекликается уже сама идея этого жанра). Чистейшим примером их нельзя не счесть и жизнетворчество Ефросиньи Керсновской: к ее длившейся годами, точной и

беспощадной регистрации в графике бесчеловечного мира, глумящегося над ней, можно прямо отнести все, что говорит о последней регистрации Рильке. Отнюдь не случайно практики последней регистрации возникают прежде всего и преимущественно в искусстве. Не входя в обоснование этого, укажем все же логическую нить, которая позволяет это понять. В практике последней регистрации человек утверждает неотъемлемый минимальный предикат хотя и сплющенного, однако еще присутствия — *свободное отношение* к вещам и явлениям, отличное и от слепого принятия, и от огульного отрицания. («Свободное отношение», *freie Beziehung*, — понятие Хайдеггера, с введения которого начинается постановка вопроса о технике и которое обозначает необходимое условие самой возможности вопрошания о сущности, условие нашей открытости для сущности предмета вопрошания.) Далее, то, что обеспечивает обладание «свободным отношением», есть не что иное как *этнос*³. Этнос — начало, естественно входящее в характеристику сплющенного Присутствия: он — из главных слагаемых в кругу начальных и минимальных достояний Присутствия. «Этнос человека есть его демон»^{*1}; есть то, что является предшествующим, общим корнем и для этического, и для эстетического измерений антропологической реальности. И здесь наша логическая нить завершается: опять-таки по Хайдеггеру (в заключительной части «Вопроса о технике»), этот этнос можно обнаружить прежде всего в сущности искусства. Прежде всего — но не исключительно. Существуют, в частности, и примеры, когда творчество философа насыщено этносом и приобретает природу последней регистрации. Назову двух философов, которые особенно прямо, на мой взгляд, воплотили миссию последнего регистратора. Людвиг Витгенштейн — истый образец последнего регистратора как в творчестве, так и в жизни: в философии — по предельным требованиям точности и ответственности философского суждения, в жизни — по всей ее стратегии, всем решающим поступкам. Символом миссии регистратора может служить знаменитый эпизод, когда, будучи наблюдателем на батарее, он вел с вышки наблюдение в бою и продолжал, не прекращая, его вести и тогда, когда все вокруг оказалось разрушено и всякая связь потеряна. У нас же в России — это Владимир Вениаминович Бибихин.

^{*1} Гераклит.
Фр. В 119 по
Дильсу-Кранцу

3. Ср.: «Этнос, пребывание, которое делает возможным “свободное отношение” (в смысле Хайдеггера. — С.Х.)» [Байнштайнер, Крепальди, 142].

В заключение подчеркнем, что помимо миссии последнего регистратора в пост-катастрофической ситуации падения могут избираться также другие пути и способы ее преодоления. Для христианского сознания на любом рубеже, в любой ситуации падения необходимой установкой является *покаяние*.

Покаяние же — это отдельная большая тема, и выше мы уже кратко писали о ее судьбе в постсоветской России. В самом начале крушения советской власти одним из символов перемен и перестройки стал фильм «Покаяние»; тема была активно заявлена и обществу дана перспектива всеобщего покаяния. Ничего случайного в этом не было, напротив, была предпринята прямая попытка восстановления христианских начал сознания и общества — тех начал, которые Россия до 1917 г. всегда принимала, ибо считала себя православной страной. Тем не менее очень скоро общество само, без малейшего давления, отвергло путь покаяния, и тема быстро ушла из публичного дискурса. Конечно, явный отголосок покаяния несет культ царя-мученика и императорской семьи, возникший спонтанно и изнутри. Но это — лишь косвенное и культовое выражение покаяния, далекое от того цельного возрождения личности, что составляет суть и цель православных покаянных трудов. В целом же общество встретило перспективу покаяния полным непониманием и с антипатией. Начали развертываться проявления нравственной и антропологической катастрофы, и вместо покаяния общество с удовольствием окунулось в грязь анти-этики. Затем, побарахтавшись в этой грязи, оно по собственной воле целиком предалось во власть тех сил, которые еще недавно осуществляли в стране террор и сегодня ничуть не отрицают своей преемственности прежним органам террора. Пришла а-этика, атрофия нравственного чувства нации, и эта формация сознания диаметрально противоположна покаянию. Противоположна не в смысле явного его отрицания, а в смысле полнейшей неспособности к нему.

Сопоставление покаяния с миссией (последнего) регистратора делает более прозрачными причины этой неспособности. Покаяние — духовный акт, который совершается всей полнотой сознания человека, всем его существом. Регистрация же — своего рода реанимация сознания, восстановление в нем нравственных и духовных измерений. Это практика, в которой человек возвращает себе полноту сознания, удостоверяется, что она есть, она при нем. Но покуда ее нет, у человека просто отсутствует способность покаяния, и все обращения к нему с призывами о покаянии могут

вести лишь к недоразумениям и конфликтам. В начале постсоветского периода ни общество, ни церковь не видели еще и не понимали того, что существует целый спектр состояний сознания, и личного, и общественного, в которых оно лишено цельности и полноты; что именно в таких состояниях российское общество и пребывает; и потому первой необходимой задачей является обрести вновь эту полноту, «прийти в сознание». Иными словами, действительно насущной задачей являлась тогда именно задача регистрации. И лишь после ее решения мог бы быть успешным призыв к покаянию.

Нетрудно увидеть, что эта же задача продолжает стоять перед нами и сегодня. Более того, сейчас на пути ее решения появляются новые препятствия, отражающие усиление посттоталитарных эффектов в жизни и сознании общества. Возникли активные и поддерживаемые властью тренды в исторической науке, которые одной частью целенаправленно внедряют подмены и фальсификации в отечественную историю, а другой — пытаются убеждать, будто бы исторической истины вообще не существует и совершенно нормально и законно утверждать ложные и обманные версии истории, которые отвечают якобы «народным представлениям» о ней, а в действительности — интересам властных групп. И это значит, что миссия регистрации здесь напрямую отвергается. Общество, таким образом, рискует лишиться уже не только способности к покаянию, но даже и способности к регистрации! И эта опасность требует весьма серьезного внимания. Вместо преодоления антропологической катастрофы мы легко можем оказаться на путях ее углубления.

Источники и литература

1. *Байнштайнер, Крепальди* = Байнштайнер А., Крепальди Д. Мимезис или метафизика? Рецепция Хайдеггера у Жирара в контексте «Додумать Клаузевица» // *Фонарь Диогена*. 2016. № 2. С. 118–145.
2. *Беломорканал* = Беломорско-Балтийский Канал имени Сталина : История строительства 1931–1934 гг. / Под ред. М. Горького и др. М. : ОГИЗ, 1934. 616 с.
3. *Глуховский* = Глуховский Д. «Дети неизбежно победят, вопрос в том, успеет ли нынешняя власть их испортить» // *Новая газета*. 19.06.2017. № 64. С. 11–13.
4. *Горький* = Горький М. Будем на страже. М. : Московский рабочий, 1931. 149 с.

5. *Микоян* = Микоян А. Славное двадцатилетие советской разведки : Доклад на торжественном заседании в Большом театре 20 декабря 1937 г. // Двадцать лет ВЧК-ОГПУ-НКВД. М. : ОГИЗ, 1938. С. 29–39.
6. *Пастернак* = Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. [Париж] : Société d'Édition et d'Impression Mondiale, 1959. 634 с.
7. *Рильке* = Рильке Р.М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М. : Искусство, 1971. 458 с.
8. *Сталин* = Сталин И. Краткий курс истории ВКП(б). М. : ОГИЗ, 1938. 353 с.
9. *Федотов* = Федотов Г.П. О национальном покаянии // Он же. Собрание сочинений : В 12 т. Т. 6 : Статьи из журналов «Новый град», «Современные записки», «Новая Россия». М. : Sam & Sam, 2013. С. 5–13.
10. *Хармс* = Хармс Д. Сабля // Он же. Полет в небеса. Л. : Советский писатель, 1988. С. 433–439.
11. *Хоружий 1994* = Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. СПб. : Алетейя, 1994. 445 с.
12. *Хоружий 2016* = Хоружий С. С. Социум и синергия: колонизация интерфейса. Казань : Каз. иннов. ун-т им. В. Г. Тимирязова, 2016. 452 с.
13. *Хоружий 2018* = Хоружий С. С. Опыты из русской духовной традиции. М. : Институт св. Фомы, 2018. 870 с.
14. *Giedion-Welcker* = Giedion-Welcker K. Paul Klee. Hamburg : Rowohlt, 1998. 173 S.

S. S. Horujy

The Ethical Catastrophe of Russia and the Mission of Registration⁴

This paper analyzes the anthropological catastrophe which occurred in Russia in the XX c. and discusses, which anthropological and social strategies are possible for redressing it in the immediate, post-catastrophic period. We review how ethical models have changed in Russia, from the prerevolutionary period to the present day, showing that the changes were typically sharp breaks between subsequent ethical models which were dictated by state power in a normative and violent manner. These breaks were damaging and disorienting for ethical consciousness, and gradually deprived this consciousness of sensitivity,

4. The basis for this article is a paper by the author which was presented at the international conference announced under the rubric *Russia between the Past*

and *the Future: Guardians and Trailblazers*, which was held in Moscow and the Moscow Region in November, 2018.

eventually degrading it entirely. The paper characterizes the final, post-soviet stages of the process as the formation of “anti-ethics” (in the 1990s), followed by today’s formation of “non-ethics”, i. e. atrophied moral instinct and ethical consciousness.

Next, the paper undertakes an anthropological analysis of the post-catastrophic state of man and society in Russia. Based on the conception of man as the “being-presence” (developed chiefly in Heidegger’s philosophy of *Dasein* and in the philosophy of Vladimir Bibikhin, in Russia), we conclude that in the post-catastrophic situation man exists in a certain deficient mode that might be termed the “trampled-down presence”. We find examples of this mode of existence portrayed in modern art in the works of Rilke, Klee and Kharms, and also in works of GULAG prisoners. In these examples, man’s mission of self-realization — insofar as self-realization is even possible under such extreme conditions — is qualified as a particular kind of existential practice that we term “registration on the edge”, or “ultimate registration”. Those who accomplish this mission are “ultimate registrars”. The mode of being that we call “trampled-down presence” lacks a full-bodied ethical model (as well as other dimensions of normal being-presence), although it still has a certain ethos.

KEYWORDS: ethics, ethos, ontology, anthropology, Russia, Russian revolution, archaization, anthropological catastrophe, being-presence, extreme practices, repentance.

References

1. Baynshtajner A., Krepaldi D. (2016). “Mimesis ili metafizika? Retseptsiia Khaideggera u Zhirara v kontekste «Dodumat’ Klauzevitsa»” [“Mimesis or Metaphysics? Girard’s Heidegger Reception in the Context of ‘To complete Clausewitz’ ”]. *Fonar’ Diogena*, 2016, n. 2, pp. 118–145 (Russian translation).
2. Giedion-Welcker K. (1998). *Paul Klee*. Hamburg : Rowohlt.
3. Glukhovskij D. (2017). “«Deti neizbezhno pobediat, vopros v tom, uspeet li nyneshniaia vlast’ ikh isportit’»” [“‘Children will inevitably win, the question is whether the current government will manage to spoil them’ ”]. *Novaia gazeta*, 19.06.2017, n. 64, pp. 11–13 (in Russian).
4. Gorky M. (ed.) (1934). *Belomorsko-Baltiiskii Kanal imeni Stalina : Istoriia stroitel’sтва 1931–1934 gg.* [White Sea-Baltic Canal named after Stalin : History of construction 1931–1934]. Moscow : OGIZ (in Russian).
5. Gorky M. (1931). *Budem na strazhe* [We will be on guard]. Moscow : Moskovskii rabochii (in Russian).
6. Horujy S. S. (1994). *Posle pereryva. Puti russkoi filosofii* [After the break. Ways of Russian philosophy]. St. Petersburg : Aleteiia (in Russian).

7. Horujy S. S. (2016). *Sotsium i sinergii: kolonizatsiia interfeisa* [Social and synergy: interface colonization]. Kazan' : Kaz. innov. un-t im. V. G. Timiriasova (in Russian).
8. Horujy S. S. (2018). *Opyty iz russkoi dukhovnoi traditsii* [Experiments from the Russian spiritual tradition]. Moscow Institute of St. Thomas (in Russian).
9. Kharms D. (1988). "Sablia" ["Saber"], in Idem. *Polet v nebesa* [Flying to heaven]. Leningrad : Sovetskii Pisatel', pp. 433–439 (in Russian).
10. Mikoian A. (1938). "Slavnoe dvadtsatiletie sovetsoi razvedki : Doklad na torzhestvennom zasedanii v Bol'shom teatre 20 dekabria 1937 g." ["Glorious Twentieth Anniversary of Soviet Intelligence : Report at a ceremonial meeting at the Bolshoi Theater on December 20, 1937"], in *Dvadtsat' let VChK-OGPU-NKVD* [Twenty Years of the Cheka-OGPU-NKVD]. Moscow : OGIZ, pp. 29–39 (in Russian).
11. Pasternak B. L. (1959). *Doktor Zhivago*. [Parizh] : Soci t  d'Edition et d'Impression Mondiale (in Russian).
12. Rilke R. M. (1971). *Vorpsvede. Ogiust Roden. Pis'ma. Stikhi* [Worpswede. Auguste Rodin. Letters. Poems]. Moscow : Art (Russian translation).
13. Stalin I. (1938). *Kratkii kurs istorii VKP(b)* [Short course of the history of the CPSU (c)]. Moscow : OGIZ (in Russian).
14. Fedotov G. P. (2013). "O natsional'nom pokaianii" ["On National Repentance"], in Idem. *Sobranie sochinenii : V 12 t. T. 6 : Stat'i iz zhurnalov «Novyi grad», «Sovremennye zapiski», «Novaia Rossiia»* [Collected Works : In 12 v., v. 6 : Articles from the magazines "Novy grad", "Modern notes", "New Russia"]. Moscow : Sam & Sam, pp. 5–13 (in Russian).

S. S. Horujy

The Ethical Catastrophe of Russia and the Mission of Registration¹

This paper analyzes the anthropological catastrophe which occurred in Russia in the XX c. and discusses, which anthropological and social strategies are possible for re-dressing it in the immediate, post-catastrophic period. We review how ethical models have changed in Russia, from the prerevolutionary period to the present day, showing that the changes were typically sharp breaks between subsequent ethical models which were dictated by state power in a normative and violent manner. These breaks were damaging and disorienting for ethical consciousness, and gradually deprived this consciousness of sensitivity, eventually degrading it entirely. The paper characterizes the final, post-soviet stages of the process as the formation of “anti-ethics” (in the 1990s), followed by today’s formation of “non-ethics”, i. e. atrophied moral instinct and ethical consciousness.

Next, the paper undertakes an anthropological analysis of the post-catastrophic state of man and society in Russia. Based on the conception of man as the “being-presence” (developed chiefly in Heidegger’s philosophy of *Dasein* and in the philosophy of Vladimir Bibikhin, in Russia), we conclude that in the post-catastrophic situation man exists in a certain deficient mode that might be termed the “trampled-down presence”. We find examples of this mode of existence portrayed in modern art in the works of Rilke, Klee and Kharms, and also in works of GULAG prisoners. In these examples, man’s mission of self-realization — insofar as self-realization is even possible under such extreme conditions — is qualified as a particular kind of existential practice that we term “registration on the edge”, or “ultimate registration”. Those who accomplish this mission are “ultimate registrars”. The mode of being that we call “trampled-down presence” lacks a full-bodied ethical model (as well as other dimensions of normal being-presence), although it still has a certain ethos.

KEYWORDS: ethics, ethos, ontology, anthropology, Russia, Russian revolution, archaization, anthropological catastrophe, being-presence, extreme practices, repentance.

1. The basis for this article is a paper by the author which was presented at the international conference announced under the rubric *Russia between the Past and the Future: Guardians and Trailblazers*, which was held in Moscow and the Moscow Region in November, 2018.

It is impossible for the Russian consciousness not to associate the theme chosen for our meeting with the line from Lermontov's *Borodino*:

We then began to count the wounded — count our fellows fallen².

We are plunged into a situation in which the country and its society have endured a series of extremely difficult and destructive ordeals. We want to be able to understand where it has all led — where and in what state has all this left the consciousness of our society, the country's cultural life and civilization — exactly *where are we?* And we want to understand what our chances are for overcoming this great trauma, with its spiritual, anthropological, cultural and social consequences.

All of these questions have, countless times, found themselves in the limelight of public discussion, with its eloquent declarations and lofty meditations: but they remain unanswered to this day. It is already long ago, in 1989, that Merab Mamardashvili wrote that anthropological catastrophe is at the centre of what happened during the XX c. This assertion became popular — it was repeated then, and is still repeated now, though there have been no breakthroughs in the understanding of the catastrophe, either from Mamardashvili himself or from other authors. In order to work our way toward an understanding, our conversations need to become specific, concept-based and analytical. This paper is an effort to make some headway in that direction.

For a start, it is easy to agree that *catastrophe* is the key word we need to use in order to convey adequately the character and meaning of the events of the last century. And there is also enough evidence to entirely agree with Mamardashvili's thesis — that the main result of all that has happened in our fatherland is an *anthropological catastrophe*. It's unlikely to be productive, however, to make the whole phenomenon, in its entirety, the central object of study. Anthropological reality is not only complex — it has an infinite number of dimensions; and it is surely impossible to comprehend the changes that happened all at once, in all their aspects. Therefore, in order to understand what has actually happened with anthropological reality, it is first necessary to single out some key aspects, which could be described precisely and interpreted on a reliable conceptual basis. In my recent works, I have tried to achieve such a description and conceptualization for the process of ethical changes in Russia over the course of the XX c. It is well-

2. Original Russian: *Тогда считать мы стали рань, товарищей считать.*

known since Aristotle that the ethical aspect is principal and essential in man's existence, and hence its analytical description will provide a basis for understanding the anthropological catastrophe.

As is often said, the XX c. truly began in 1914, with the sharp change in the historical dynamic that accompanied the start of the First World War. For Russia, the landmark turning point and the beginning of the catastrophic changes was the fall of the Russian Empire. It is the character of the process of change that is important, in the first place. In Russia, a Bolshevik regime was established, i. e. the rule by the most radical wing of the Russian intelligentsia represented by a group which had persistently strived for a power clash, the polarization of society and the destruction of the nation state. Even before the Revolution, a state of conflict between the authorities and society prevailed, and there were strong tendencies toward social enmity. Traditional, Orthodox Christian foundations of ethics and societal consciousness were seriously undermined. Upon coming to power, the Bolsheviks affected a total, forcible transformation of not only the structure of society itself, but also of societal and personal consciousness. They wanted that the development of the nation embodied their radical programs and plans, which were subordinated to abstract ideological schemata. But these plans didn't correspond to reality, and thus *the shattering of reality* became the principal Bolshevik strategy and slogan. This strategy was announced and implemented openly and aggressively. A specific discourse of breaking, which repeated persistently the motifs of forcible break, dismantling, demolition, destruction became predominant in the rhetoric of the new regime.

The breaking had to be performed in all spheres of life in the country — to all the dimensions of the cultural-civilizational organism. In relation to people and society, the main concept expressing the strategy inherent in this Bolshevik wave of destruction was “engineering”. The stated goal was the creation of a new, Soviet man — and the process for his creation was seen as a technical, engineering project. One of the most popular ways of referring to this project was the “reforging” of man. This recreation of man was viewed from a revolutionary and global perspective — man's previous state of consciousness was declared obsolete, and in need of total replacement with an “advanced” Soviet consciousness. All spheres of public and private, family and everyday life and behaviour were to be subjected to revolution and deep reconstruction. Different means and technologies for performing this reconstruction were selected and tested. Art had to be transformed

into an efficient instrument for the reconstruction of man; according to Stalin's formula, writers had to become "engineers of human souls". But the main engineers of this anthropological transformation were chekists (the public security officials), and Communist party workers.

The anthropological technologies, programs and utopias of the Soviet era represent an enormous and extremely heterogeneous layer of culture. The basis of this layer was composed of two neighbouring, but not coinciding currents: scientific and technological transformation of the human being, and his/her forcible social demolition and reconstruction. Figures such as Dziga Vertov, Valerian Muravyov, A. K. Gorsky, N. A. Setnitskij and others were active within the first current, fed by ideas of avant-garde art, Russian cosmism, and philosophy of Nikolay Fyodorov³. This first current followed the approach of so called transformative anthropology, an analysis of which is presented in my book "Society and Synergy: Colonizing an Interface" [*Horujy* 2016, 411–428]. But now we are concerned with the second current, in which the practical anthropology of Soviet totalitarianism was formed-up. Its leading goals and features were personally determined by Stalin and Gorky. Stalin's *History of the Communist Party of the Soviet Union* (1938), methodically lays down the path for the break-up and destruction in all spheres of life, affirming the need to "shatter the structures of the bourgeois state power", "destroy the remains of class-based society", bring in "red terror", "liquidate the kulak class as a whole" [*Stalin*], etc. As for Gorky, after his return to the USSR, he became the main ideologist and propagandist for the forcible ethical and anthropological reconstruction of the human person. It was he, who introduced and insistently cultivated the concept "not fully beaten enemy", demanding the ruthless breaking of human nature:

The more decisive the working class is in continuing to break the backbone of the all-union petty bourgeois, the more piercing and pitiful is the petty bourgeois's chirping complaint [*Gorky*, 72].

The NKVD took upon itself the functions of the destruction of the foundations of the family and civil community, in addition to its functions of the direct reprisals. In the jubilee declarations for the 20th an-

3. Nikolai Fyodorovich Fyodorov (1828–1903) was a Russian Orthodox Christian philosopher, who was part of the Russian cosmism movement and a precursor of transhumanism. Fyodorov advocated radical life

extension, physical immortality and even resurrection of the dead, using scientific methods. (Source: Wikipedia).

niversary of the formation of the Cheka security service in 1937, we find the following statements:

...The NKVD not only uncovers criminal cases, but organizes the people... [Mikoian, 39].

Citizen Dashkova-Orlovskaya, for instance, was instrumental in uncovering espionage on the part of her former husband... [Mikoian, 38].

One worker informed the NKVD about the members of a Trotskyite organization, and named his own brother among them... This simple worker was unafraid to tell the truth about his own brother, because the Soviet power is above all, above personal and family interests for him. (*Applause.*) [Mikoian, 38].

...Young pioneer Kolya Shcheglov... informed the regional head of the NKVD of the fact that his father was stealing building materials from the sovkhos where he worked. His father was arrested... <...> ...Young pioneer Kolya Shcheglov knows what Soviet power is. This is where the power is — this is the strength of our people! [Mikoian, 38–39].

Of course the main working field for totalitarian anthropological technologies was the GULAG. Basic principles, which determine the economy and the ideology of the GULAG, have been elaborated in parallel during the 2nd half of the 1920s. The economic part was built upon the ideas of Naum Frenkel, relating to the organization of an empire of slave labour, while the core of the GULAG ideology was the well-known idea of “reforging” the human person. The neologism, “reforging” (“perekovka”, in Russian), was the result of an intensive search for a word which would adequately express the specific change within the human person — a prisoner, but not necessarily prisoner — in the case of a person who turns out to be in the midst of an enormous building or production process, under conditions of strict regime, grueling work and miserable living. It seems that the term arose on the island of Solovki around 1930; along with the language of reforging, terms like “demolition”, “breakage”, “reconstruction”, “remelting” and “resoldering” were used. The first authors who made use of this new language, explained that it relates to a “new breed of people”, who had been “reforged” in the building works of the Belomor Canal, and then the Moscow — Volga Canal. The ideology and practice of this reforging is presented in detail in a well-known publication, the collective monograph “Stalin Belomorsko-Baltijskij Canal: A History of

its Construction from 1931 to 1934” [*Belomorkanal*]. This voluminous work, which Solzhenitsyn writes of in his *GULAG Archipelago*, is one of the primary sources not only on Stalinist ideology, but also on ethical and anthropological processes of that era. Its pages expose both the totalitarian practices of repression and the moral degradation of cultural community, in the person of dozens of authors — all eminent Soviet literary figures.

But the stated goals of the socialist reforging of man actually had very little to do with real man’s changes under Soviet regime. Anthropological changes were really taking place, and they were deep and important — but they were absolutely different and unforeseen. Below, I describe briefly the changes, which took place in the ethical dimension. As we shall see, here the strategy of the breaking was implemented in a series of forced, administrative changes to the ethical model of society. Contradicting each other, these changes systematically destroyed moral consciousness, progressively pushing it through degradation to total catastrophe.

This process began immediately with the Revolution, as a result of which the ethics of the radical intelligentsia became dominant. This ethics produced the first in the series of new ethical paradigms: *the Ethics of Revolution and Civil War*. This is an ethics of aggression, which inflames the hate and enmity of the lower classes to the higher, as well as to everything and everybody belonging in the old order. It declares open war to the old Russia and her Orthodox ethics: “Let’s fire a bullet at Holy Rus’!” («Пальнем-ка пулей в Святую Русь!»). The ethics of revolution also justifies the Red terror, as well as any cruelty and repression deemed necessary to the cause. As is the case with the regime of war communism in general, this defiantly extremist ethics could not be practiced for more than a short time; thus it leaves the scene with the introduction of the New Economic Policy (NEP). The 1920s were an interim and indeterminate period, during which the regime allowed certain elements of the old culture, societal order and economic way of life to exist as a sort of compromise, at the same time advancing toward their total liquidation. In the domain of arts, the period was bright and fruitful, but in its moral aspect, the 20s were ambiguous and slippery. Loud revolutionary rhetoric and unprincipled compromising practices screamed contradictions at each other, and ethical consciousness lost its foothold, becoming disoriented and confused.

The next period, however, left nothing undetermined. It realized the transformation of all ethical spheres and gave birth to a new ethi-

cal formation, the *ethics of Soviet totalitarianism*, which was driven into the social and personal consciousness so forcefully and was inculcated so deeply that many of its marks remain to this day. This ethics of Soviet totalitarianism is a very important phenomenon, which is poorly understood and too-little studied up to this day. Here I shall only point out its principal features.

The most important principle of totalitarian ethics is *loyalty to the party*, to the person of its leader and to its teaching, which had to be recognized as absolute truth without fail. It means that the type of this ethics is close to that of criminal gangs, for which the most important principle is loyalty to the head of the gang. The next most important principle is *violence*. Loyalty to the regime is maintained by means of a terror machine, which practices cruel repression, including murder, against a broad circle of groups of individuals, which are declared “enemies of the people”. When used against “enemies of the people”, violence and murder are seen as moral acts. The justification for this widely cultivated violence is achieved with the aid of the equally wide arousal of *hate*. The mechanisms of hate are deeply ingrained in the ancient strata of our consciousness with their archaic and atavistic patterns, and therefore the totalitarian consciousness with its ethics of violence and hate belongs to the category of the *phenomena of archaization*⁴. In the campaigns of totalitarian terror the reproduction of the archaic paradigms of the “scapegoat” (which was reconstructed by R. Girard) and the Homo Sacer (described by G. Agamben) is unavoidable. Meetings with hundreds and even thousands of people were organized, in which the crowds were to demand the death punishment for enemies of the people, and these events were rituals in the truest sense of the word, turning each one of the participants into a symbolic partaker in the murder of the scapegoat. There were categories of people, for instance the fugitives from concentration camps, whom anybody could kill on legitimate grounds, which corresponds exactly to the Homo Sacer paradigm.

Along with this, the taboo paradigm, one of the basic features of the primitive consciousness, reemerged and became widely spread. The reigning terror was perceived by the mass consciousness in the same way as pestilences and plagues of old: victims of such epidemics, together with their homes, were considered as contaminated and tabooed so that it was dangerous and forbidden even to mention their

4. Look about it, e.g.: [Horujy 1994, 443–445; Horujy 2018, 634].

names. Myths of the shape-shifting returned as well: Soviet discourse made broad use of the notions like “masked”, “disguised” or “changed-color” enemies and wreckers whose figures were represented exactly as shape-shifters of the primitive consciousness. The large-scale return to primitive and archaic patterns of social consciousness was taking place. Thus, the archaization must also be considered as one of the main traits of totalitarian consciousness, and this trait has a great number of consequences for ethics.

Another one of the most important traits of totalitarian ethics is the culture of the total “informing” on others. The primary principle of loyalty to the regime included the obligation to report any infractions of loyalty, and inform on any people who did such infractions. Not to report disloyalty was considered a crime. The institute of secret informers reached such enormous proportions, that the presence of them was assumed everywhere and in any company. In this way, the atmosphere of total distrust and fear was created, which in the greatest extent poisoned human relationships, be it at work, between friends, or between family members.

Finally, it must be taken into account that alongside this real ethics of totalitarianism there was also the official Soviet ethics. This official ethics had only one point in common with the real ethics, which was the principle of loyalty to the party and its leader. The other official principles, such as soviet collectivism, labor for the good of society, etc., were far from reality, but they were part of the totalitarian dogma, and therefore everyone was regularly required to affirm his/her belief in them. The crying contradiction between these obligatory declarations and reality gave birth to hypocrisy and lies in all areas of public life.

In the next stages of soviet history, after the Stalinist terror, violence and hate were shifted to a more peripheral position, while hypocrisy and lies turned out to be the most typical and long-lived features of Soviet consciousness and ethics. It was for this reason, therefore, that Solzhenitsyn called upon society to “*Live without lying!*” The late Soviet period brought forth a new change of the ethical model. This period was characterized by the progressive erosion and collapse of Marxist-Leninist dogma. Official ethics was wavering between the loyalty to the old dogmas and attempts to renew them and make them more humane. A typical example would be the “Moral Code of the Builder of Communism”, written by the order of Khrushchev. But all these attempts don’t even come close to reaching the level of a full-bodied ethical concept. It becomes increasingly obvious that the ruling class

does not live in accordance to the high-minded morals that it preaches, and previously-held respect for the authorities gradually gives way to mockery and contempt. But the regime still maintains the levers of power and the machine of violence and hence fear continues to live although it is now weaker than before. A specific combination of cautiously defensive fear and derisive contempt emerges here. In this peculiar formation dominated by the creeping rot of cynicism, the process of ethical degradation is already vividly obvious.

After the fall of the Soviet regime, this process quickly reached its culmination. Here we can see a contradiction — after all, the removal of total repression and control returned freedom of conscience and societal action, making it possible to recognize the symptoms of decay and degradation, evaluate them and find paths to overcoming them. But this chance was rejected. The necessary first step in overcoming the moral decay is repentance: in the most general sense, repentance is nothing but moral self-analysis and sober awareness of one's moral situation, which makes it the universal paradigm of the beginning of and the first step to the recovery of one's moral health. Just as the Soviet regime was on its way out, there was a short period of moral breakthrough for Russian society, when the theme of repentance came into the public discourse and was widely discussed. During this period, the path of repentance was affirmed as necessary for society. But before too long, the reaction to this breakthrough turned into indifference or denial. The path of repentance was rejected, and this rejection was, speaking properly, the first moral act of Russian consciousness after it was granted freedom. A posteriori, we see that this was the test which determined a great deal for the subsequent development of our ethical situation.

The numbness of the national conscience is the main symptom of its illness [*Fedotov, 11*].

Soon a new ethics appears in post-Soviet society. The predominant feature of this new ethics is again overriding cynicism. It is an anti-ethical stance which is active now under particular circumstances: with the fall of the Soviet power, not only the Communist dictatorial machine was destroyed, but also the basic institutes of law and order, the battle against crime was dismantled, and the basic mechanisms for maintaining day-to-day life disappeared. In the wake of the destruction and collapse of the economy and society, we also see the collapse of all ethical norms, independent of their connection with So-

viet ideology. All ethical taboos disappear. Our country witnessed the total collapse of social ethics — a particular state of affairs in which the most hideous and inhuman crimes, including murder, can almost be openly committed. Moreover, these crimes are now considered by public consciousness as acceptable, and they do not arouse any moral judgement. Some practices of this kind are even popularized and begin to be considered prestigious: people relate with interest and even with some respect to such “professions” as bandit, killer, or prostitute. This means that a sort of reverse ethic has taken hold within public consciousness. This is an ethical formation in which the basest and most criminal acts are legitimated and positively evaluated. The most natural name for such an ethical formation is *anti-ethics*.

Just as with the state of extreme destruction of the country, so the related state of anti-ethics could not be of long duration. With the new millennium a new period of the development of Russia begins, the period we are living in today. This period has delivered relative economic stability and societal order, and anti-ethics has also become a thing of the past. However, this latest change in ethical model turned out to be not the overcoming of the ethical degradation, but its further stage, which is extreme, in a certain sense. Analyses of the ethical situation in the country characterize this stage as the absence, or total withdrawal of ethics. One of leading modern writers of prose, Dmitry Glukhovsky, for instance, writes:

We are in a period when people reject any ideas about ethics. Ideas about good and evil are no longer used [*Glukhovsky, 11*].

But we need to take a closer look at what is going on here, because ethics, as such, is an immanent property of man and society so that its exact and literal absence is impossible. Even anti-ethics is in fact a certain form of ethics. A more careful analysis reveals that at any given time, today’s public consciousness accepts certain ethical norms and principles, some of which may even be quite strict. But this acceptance is purely formal and superficial. It takes place in obedience to orders laid down by the authorities, and these orders are nowadays no more than products of “operational demands” that is the political or ideological interest of the moment. As a consequence, they change frequently and unexpectedly, and often contradict to each other. Society obediently takes on any ethical position dictated to it, only to change this position again, equally obediently, may be, the very next day. And this means that society has no position or moral reaction of its own.